

Мариэтта ЧУДАКОВА

К 100-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
ПИСАТЕЛЯ

МИХАИЛ БУЛГАКОВ И РОССИЯ



БУЛГАКОВ утратил свою страну не враз — скорее, он утрачивал ее в течение всей своей недолгой жизни.

Живя в Киеве, он с детства был уверен, что родился и живет в России: Украина была ее частью, это были российские губернии. Когда жители этих губерний стали воевать с русскими офицерами, а на улицах Киева стало опасно говорить по-русски, Булгаков почувствовал, что лишается своей земли («Моя земля! Грусть, сладость, тревога!» — в письме к А. Гдешинскому весной 1935 года).

Но, покидая Киев осенью 1919 года в форме военврача Добровольческой армии, Булгаков еще не знал, что его родина (или — в его словоупотреблении — «земля») потеряна навсегда.

Слово «родина» в более широком значении появится в статье «Грядущие перспективы» (1919) в первой же фразе: «Теперь, когда наша несчастная родина находится на самом дне ямы позора и бедствия, в которую ее загнала «великая социальная революция»...»

Он с горечью понимает, что западные страны «очень скоро поправятся», мы же «опоздаем... Мы так сильно опоздаем, что никто из современных пророков, пожалуй, не скажет, когда же наконец мы догоним их и догоним ли вообще?»

Кто эти «мы» в тогдашнем словоупотреблении Булгакова? Граждане бывшей России, стремящиеся вернуть себе этот прежний статус: «Нам немислимо сейчас созидать. Перед нами тяжкая задача — завоевать, отнять свою собственную землю. <...> Мы будем завоевывать собственные столицы. И мы завоеваем их».

В конце февраля 1920 года Булгаков по несчастной случайности, из-за свалившегося его тифа, остался во Владикавказе и попал под советскую власть. Достаточно почитать «Записки на манжетах», чтобы увидеть: автор их стремится передать самоощущение человека, находящегося не в своей стране — во всех смыслах. В бреде героя представляется обобщенная своя страна: «Леса и горы. Но не эти, проклятые, кавказские. А наши, далекие... Мельников-Печерский. Скит занесен снегом. Огонек мерцает, и баня топится...» Но над всем этим — и некая улыбка, легкая, но неизгладимая автоирония: «Петр в зеленом кафтане рубил корабельный лес. Понеже... Какое хорошее, солидное, государственное слово — по-не-же!» (Надо вспомнить эти строки тому, кто читает в письме Булгакова Вересаеву 1931 года характеристику поведения Сталина в телефонном разговоре с ним 18 апреля 1930 года: «Поверьте моему вкусу: он вел разговор сильно, ясно, государственно и элегантно».) Герой-рассказчик «Записок на манжетах», приближенный к автору, не на своей земле — в некоем огороженном, изолированном от окружающего мира месте проживания: «Горы замкнули нас. Спит под лунной Столовая гора. Далеко, далеко, на севере, бескрайные равнины... На юг — ущелья, провалы, бурливые речки. Где-то на западе — море. Над ним светит Золотой Рог...» И в следующей строке — сравнение с мухами, прилипшими к клейкой бумаге.

Через город проезжают в разных направлениях собратья по цеху, один из них — «с Черного моря, проездом в Петербург. Где-то на севере был такой город. Существует ли теперь? Писатель смеется, уверяет, что существует. Но ехать до него долго: три года в теплушке». Россия потеряла реальные очертания, определенную, неизменную протяженность. В те же годы, когда Булгаков пишет «Записки на манжетах», его ровесник О. Мандельштам среди своих феодосийских впечатлений 1919—1920 годов описывает реальное лицо — полковника Цыгальского. Мандельштам увидел в стихах полковника «сомнамбулический ландшафт, в котором он жил. Самое глазное в этом ландшафте был провал, образовавшийся на месте России. Черное море надвинулось до самой лизвы; густые, как деготь, волны его лизали плиты Исаакия, с траурной пеной разбивались о ступени Сената» («Бармы закона»).

ФОТО ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВСКОГО